

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

Пушкин

Москва  2013
ЭКСМО

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)
Т 93

Оформление серии *А. Бондаренко*

Оформление переплета *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художников *А. П. Елагиной* (копия с портрета В. А. Тропинина), *Е. Гейтмана* и *В. Бендца*

Тынянов Ю. Н.

Т 93 Пушкин / Юрий Тынянов. — М. : Эксмо, 2013. — 640 с. : ил. — (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-699-65137-5

Юрий Тынянов (1894–1943) — исторический романист, историк и теоретик литературы, «живописец человеческих талантов», по слову К. И. Чуковского, умевший воссоздать образ и выявить сущность личности любой эпохи. Свой роман «Пушкин» Ю. Н. Тынянов задумывал как завершающую часть трилогии «Кюхельбекер — Грибоедов — Пушкин». Писатель взял за основу первой части романа пушкинский план автобиографии «Программа записок». Ему удалось расшифровать многие загадки, начатые и брошенные фразы, фамилии. Опираясь на ничтожные данные, он угадал главное и построил на нем свое живое увлекательное повествование об Александре Пушкине.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-699-65137-5
© Тынянов Ю. М., наследник, 2013
© Чуковский К. И., предисловие, наследники, 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Содержание

К. И. Чуковский
О Ю. Тынянове

7

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

ПУШКИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

15

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИЦЕЙ

214

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЮНОСТЬ

513

О Ю. ТЫНЯНОВЕ

Тынянов был с детства книжником, самым жадным глотателем книг из всех, каких я когда-либо видел. Где бы он ни поселялся — в петергофском санатории или в московской гостинице, его жилье через день, через два само собою обрастало русскими, французскими, немецкими, итальянскими книгами, они загромождали собою всю мебель, и их количество неудержимо росло.

В первые годы моего с ним знакомства, когда он был еще так молод, что все принимали его за студента, зайдет, бывало, ко мне на минуту — по пути в библиотеку или в Пушкинский Дом — и засидится до самого вечера, толкуя о Державине, о Якове Гроте, о Николае Филиппыче Павлове (он так и называл его Николаем Филиппычем), о Диккенсе, о Мицкевиче или о какой-нибудь мелкой литературной букашке, которую, кажется, ни в какой микроскоп не увидишь. И, помню, меня тогда же поражало, что из каждой прочитанной книги перед ним во весь рост вставал ее автор, живой человек с такими-то глазами, бровями, привычками, жестами, и что о каждом из них он говорил как о старом приятеле, словно только что расстался с ним у Летнего сада или в Госиздате на Невском.

И если бы во время таких разговоров ко мне в комнату вошел, например, Бенедиктов, или, скажем, Языков, или Дружинин, или Некрасов с Иваном Панаевым, я нисколько не удивился бы, потому что и сам под гипнозом тыняновской речи начинал чувствовать себя их современником...

Все писатели прошлых столетий были для него Николаи Филиппычи, Василии Степанычи, Алексеи Феофилактычи, Кондратии Федоровичи. Они-то и составляли то обширное общество, в котором он постоянно вращался. Ему не нужно

было напрягать воображение, чтобы воскресить, например, баснописца Измайлова, — тот и так стоял перед ним во весь рост — талантливый нетрезвый забуддыга, — и Тынянову были ясно видны даже синие жилки у него на носу.

Это художническое восприятие литературы минувших веков тогда же, в юности, ярче всего выражалось в тех мимических сценах из писательской жизни, которые он исполнял с таким блеском, ибо втайне, по секрету от всех, был первоклассным актером, художником жестикуляции и мимики, и легко преобразился, например, в Воейкова, в Крылова, в Жуковского и артистически воспроизводил целые эпизоды из их биографий.

Вообще в нем не было ни тени ученого педантизма, гелертерства. Его ум, такой разнообразный и гибкий, мог каждую минуту взрываться целыми фейерверками экспромтов, эпиграмм, каламбуров, пародий и так свободно переходить от теоретических споров к анекдоту, к бытовому гротеску.

Недаром его связывала крепкая дружба с такими мастерами изощренного светлого юмора, как Михаил Зощенко и Евгений Шварц. Они часто собирались втроем друг у друга (и в Доме искусств), и всякий раз, когда я попадал в их компанию, я заранее знал, что буду хохотать до полного истощения сил...

Высокая культура объединяла всю эту троицу: Зощенко и Шварц были люди того же интеллектуального уровня, что и Тынянов. Он отлично дополнял их обоих.

Чудесно изображал он профессора Венгерова (Семена Афанасьича), академика Орлова, академика Шахматова, профессора Щербу, артиста Михозлса, и на этом поприще у него был единственный соперник — Иракий Андроников.

Как и Андроников, он не просто копировал внешние особенности того или иного лица, но полностью перевоплощался в него: так что, когда он изображал, например, Пастернака, мне казалось, что даже пальцы, даже ресницы, даже уши становились у него пастернаковскими...

...Каждую человеческую личность Тынянов воспринимал как художник, во всем своеобразии ее индивидуальных особенностей, которые всегда были страшно интересны ему, как интересны они только художникам. Ибо он был раньше всего портретист, живописец человеческих характеров, чрезвычайно остро ощущавший в каждом жесте, в каждом слове человека, в его походке, в его манерах, в очертании его носа и глаз самое существо его личности...

...Я помню, как полнокровно, с каким изобилием живописных подробностей изображал он у меня на ленинградской квартире легкомысленного, чванного, скупого и все же милого какой-то обаятельной детскостью Сергея Львовича Пушкина, в голубом галстуке, в кригс-комиссариатском мундире, и потом, когда я прочитал в его незаконченном романе страницы, посвященные Сергею Львовичу, я вспомнил, что уже видел этого человека — у себя на квартире, на Кировской улице, за десять лет до того, — когда Тынянов исполнял его роль.

Но была в характере Тынянова одна непостижимая странность, которая глубоко огорчала меня.

Этот природный художник, мастер живописи, портретист по призванию, человек очень конкретного бытового мышления, воскресавший воображением десятки давно умерших людей, не ценил своего дарования и даже как бы стыдился его.

Те чудесные портреты старинных писателей, которые он так легко и свободно, такой уверенной кистью воссоздавал перед нами, оставались достоянием тесного круга друзей и не выходили за пределы его устного творчества, а читатели даже не подозревали о них.

Читатели знали Тынянова как автора очень ценных научных работ, написанных с большой эрудицией, и, я думаю, были бы весьма изумлены, если бы в одно из воскресений увидели этого творца многосложных теорий, как он в гостях у нашего общего друга разыгрывает пантомиму о некоем дряхлом, но очень похотливом филологе, влюбившемся в свою аспирантку.

По какой-то непонятной причине Тынянов-ученый не любил Тынянова-художника, держал его в черном теле, исключительно для домашних услуг, и давал ему волю лишь в веселой компании, по праздникам, когда хотел отдохнуть от серьезных занятий. Это, повторяю, огорчало меня. Не то чтобы я не уважал его ученых трудов. Как самобытный мыслитель, как эрудит, как исследователь, он не мог не импонировать мне. В его книгах, написанных на историко-литературные темы, было много широких идей и зорко подмеченных фактов. Но эти книги, статьи, брошюры не вызывали во мне той непосредственной радости, того восторженного, благодарного чувства, которое пробуждала во мне его (если можно так выразиться) изустная живопись.

Однажды эти две ипостаси Тынянова — ученого и художника — явились передо мною с особой наглядностью.

На Невском, 28, существовал в 1924 году очень неудобный и замызганный клуб при ленинградском Госиздате, клуб для служащих, и там Юрию Николаевичу случилось прочесть лекцию об «архаисте» Кюхельбекере.

Лекция была посвящена исключительно стилю писателя, причем стиль рассматривался как некая самоцельная сущность; и, так как слушатели были равнодушны к проблемам, которые ставил перед ними докладчик, и вообще утомлены целодневной работой, они приняли лекцию сумрачно. Но когда после окончания лекции мы шли обратно по Невскому и потом по Литейному, Юрий Николаевич так художественно, с таким обилием живописных подробностей рассказал мне трагическую жизнь поэта, так образно представил его отношения к Пушкину, к Рылееву, к Грибоедову, к Пущину, что я довольно наивно и, пожалуй, бестактно воскликнул:

— Почему же вы не рассказали о Кюхле всего этого там, перед аудиторией, в клубе? Ведь это взволновало бы всех. А мне здесь, на улице, вот сейчас, по дороге, рассказали бы то, что говорили им там.

Он насупился. Ему было неприятно при мысли, что Тынянов-художник может нанести хоть малейший ущерб Тынянову-ученому, автору теоретических книг и статей.

И должно же было так случиться, что через несколько дней одно ленинградское издательство, функционировавшее под загадочным и звонким названием «Кубуч», вздумало издавать детские книжки — для среднего и старшего возраста — и поручило мне наладить это дело. В план издательства я самовольно включил и маленькую тыняновскую книжку о Кюхле — не больше пяти листов. Предполагалась серия таких биографий. Когда я пришел к Юрию Николаевичу и стал упрашивать его, чтобы он написал эту книжку, он согласился с большой неохотой; и кажется, если бы не бедность, угнетавшая его тогда особенно тяжело, он ни за что не взялся бы за такую работу, которая отвлекала его от научных занятий...

Так что делать было нечего, и Юрию Николаевичу пришлось скрепя сердце приняться за писание этой заказанной книжки, благо она так невелика.

Мы не видались довольно долгое время — Юрий Николаевич уехал куда-то на юг, но я хорошо помню свое изумление,

когда он принес мне объемистую рукопись «Кюхли», в которой, когда мы подсчитали страницы, оказалось не пять, а девятнадцать листов! Так легко писал он этот свой первый роман, что даже не заметил, как у него написались четырнадцать лишних листов! Вместо восьмидесяти заказанных ему страниц он, сам того не замечая, написал больше трехсот, то есть перевыполнил план чуть ли не на четыреста процентов. Все главы, за исключением двух-трех, были написаны им прямо набедро и поразительно быстро. Он почти не справлялся с архивами, так как все они были у него в голове.

Своим творческим воображением он задолго до написания книжки пережил всю жизнь Кюхельбекера как свою собственную, органически вжился в ту эпоху, усвоил себе ее стиль, ее язык, ее нравы, и ему не стоило ни малейших усилий заносить на бумагу те картины и образы, которые с юности стали как бы частью его бытия. Впоследствии он всегда вспоминал эти блаженные месяцы, когда им с такой фантастической легкостью — страница за страницей, глава за главой — создавался его первый роман, как счастливейшую пору своей творческой жизни.

Но что было делать с издательством?.. Как виноватые пришли мы в «Кубуч»... Но тут случилось чудо, почти небывалое в тогдашней издательской практике. Один из главарей «Кубуча» (тов. Сапир) догадался не страховать себя трусливой уклончивостью, а взять и прочитать весь роман. Прочитал и сделался таким страстным приверженцем «Кюхли», что героически отстоял его перед синклитом издательства.

Печатание «Кюхли» шло быстро. Еще до того, как появились первые корректуры, Тынянов задумал новый роман: о русских, проживавших в Париже в 1770-х годах и участвовавших во французской революции, — о князьях Голицыных, о графе Павле Строганове. Роман был полностью готов у него в голове, на столе у него высилась груда блокнотов, где были записаны нужные ему материалы; казалось, стоит только взять в руки перо — и роман возникнет сам собою...

И другой роман был у него в голове — об «арапе Петра Великого»; и он тогда с большим азартом принялся собирать материалы о Петровской эпохе, которые пригодились ему лишь впоследствии, для его позднейшей повести «Восковая персона». Он хотел посвятить своего «Кюхлю» отцу; где-нибудь в его бумагах найдется, может быть, текст этого посвящения, очень

лаконический, полный задушевной признательности, потому что с отцом у него была большая духовная связь...

Но вот и корректурные гранки «Кюхли». Юрий Николаевич в корне переработал главу «Петровская площадь» — о декабристском восстании (в сущности, написал ее заново) — и стал очень взволнованно и даже тревожно ждать появления книги. Эта тревога отразилась в той записи, которую за день до выхода книги, 1 декабря 1925 года, он сделал на странице моего альманаха «Чукоккала»:

«Сижу, бледнея, над экспромтом,
И даже рифм не подыскать.
Перед потомками потом там
За все придется отвечать

(Накануне рождения «Кюхли» — поэтому так плохо)».

Потомки уже вынесли ему свой приговор, ибо тотчас же после появления в печати «Кюхля» сделался раз навсегда любимейшей книгой и старых и малых советских людей, от двенадцати лет до восьмидесяти. Стало ясно, что это и в самом деле универсальная книга — и для высококвалифицированного, и для так называемого рядового читателя, и для академика, и для школьницы четвертого класса...

Последняя книга Тынянова, «Пушкин», вызывает во мне трагические воспоминания. Начал он эту книгу с большим аппетитом, очень бодро и радостно; и когда я, бывало, при встрече спрашивал: «Ну, сколько теперь лет вашему Александру Сергеевичу?» — он отвечал с виноватой улыбкой: «Вот честное слово: написал о нем двести страниц, а ему все еще семь».

Потом, при новой встрече: «Ему уже стало четырнадцать».

Роман был весь у него в голове — капитальнейшая, много-томная книга о Пушкине, но вдруг что-то застопорилось, и я впервые услышал от Юрия Николаевича такое странное в его устах слово: «Не пишется»; он стал просиживать над иными страницами по две, по три недели, и браковал их, и вновь переписывал, и вновь браковал. А потом обнаружилось, что во всем виновата болезнь; и хотя он нечеловеческим усилием воли все еще пытался писать, но эти попытки оказались бесплодными; и когда наконец он окончательно оторвался от своей недописанной книги, это для него значило: смерть.

К. Чуковский

ПУШКИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Маиор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

— Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

— Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, маиор тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, слышав шаги, пророптал во сне. Маиор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и — грязь. Дожда давно не было, а грязь все лежала — комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба неслла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к